

Воздух и Вода

Надежда Кремнёва

Надежда Кремнёва – поэт, прозаик, переводчик – родилась в Армавире, работала корреспондентом городской газеты, микрофонным оператором на телестудии, чертёжницей в лётном училище. Окончив Литературный институт им. Горького, двадцать лет работала журналистом. Автор двух поэтических сборников и романа «Бессмертный Ларионов», опубликованного в изд-ве «Московский рабочий». Одна из пяти составителей книги «Сумгайтская трагедия», вышедшей с предисловием Елены Боннэр во многих странах мира. Член Союза писателей Москвы. С 1991 года живёт во Франции.

*

Я ухожу от вас не навсегда –
не умирают воздух и вода,
а только возвращаются к исходу.
И можно вечно верить и прощать,
одним и тем же воздухом дышать,
сто раз входить в одну и ту же воду.

Конечно, муж эфесский знаменит,
на всех стихиях славен Гераклит,
но я слагаю гимны Гесиоду.

*

Я не участвую в массовках,
великих спайках и тусовках,
где хором плачут и поют,

и коллективно рыжих бьют.

Нет, я гуляю поневоле
без провожатых в чистом поле,
где дует свежий ветерок
в мой сухопутный свитерок.

За мною Муза, изнывая,
идёт, меня не узнавая,
но у черты береговой
кивает рыжей головой.

*

Ах, у поэтов всё наоборот:
бездельник тот, кто с нами пьёт.

Мы не хмелеем, право, от вина –
у нас своя отравка и вина.

Но вы напрасно нам смеётесь вслед –
там плохо, где нас нет.

*

Плывёт сквозь сумерки земля –
корабль, сверкающий огнями,
и мы плывём, не зная сами
куда, без ветра и руля.

Пестреют флаги всех армад,
гремят призывные фанфары...
В пути меняются лишь пары,
и звёзды смотрят наугад.

Плывём без ветра и руля
и только вздрагиваем зябко,
когда попутчики внезапно
на берег сходят с корабля.

*

Под сердцем носила, шитьём забавлялась,
поила, кормила, ночей не спала,
лечила, учила, тайком любовалась
и в мир бессердечный за ручку ввела.

Клубится дорога, как смятая скатерть.
Что ждёт тебя в мире предательств и слёз?
Наверное, каждая мать – Богоматерь,
а каждый ребёнок – распятый Христос.

Застольная

Со мною моя королевская рать,
красавцы мои и уроды.
Мне страшно и весело с жизнью играть
в мои непреклонные годы.

Я с теми, кто брошен, освистан, гоним,
но счастлив своим отторженьем.
Я каждым триумфом обязана им
и только себе – пораженьем.

Я знаю, не дрогнут в решительный час
сонеты, элегии, оды.
Идущие на смерть, приветствую вас,
красавцы мои и уроды!

Я с вами последнюю песню спою
о том, как легко умирают в бою.

Хрестоматика

Всех избранных, званых и даже штафирок
непрошенных,
как собственных деточек, Господи, ах,
недоношенных,
в московскую вату, шутя,
пеленает зима.
Но мы из других,
мы на пир заявляемся лишними,
поскольку грешим не чужими страстями,
а личными,
на собственный риск торжествуем
и сходим с ума.

Поэтому нас не по отчеству –
Оськами, Людками
не вдруг обзывают

и вслух объявляют ублюдками,
которых подкидывать
вовсе не стыдно толпе.
Нам книги – друзья
и случайные люди – союзники,
но мы, освящённые узами,
всё-таки узники,
в разорванном времени
каждый живёт по себе.

Нам горько быть лишними,
но притворяться сладкими
противно, ведь судьи
когда-нибудь станут судимыми,
а мы не умеем кричать
ни «ура», ни «ату».
На что нам надеяться?
Облобызают и выдадут.
Конечно, признают,
конечно, потом позавидуют.
Но что за морока
гулять в Гефсиманском саду!

*

Арма по-черкесски – дол, а ветер – вир.
Прямо чударесный город Армавир!

Денно воют ветры, ночью воют псы,
словно километры множат на часы.

Или цедит цадик: ветер-ливень-град...
Каждый вертоградик – целый ветроград.

Здесь родиться – сдунул вир и раскидал –
Бог ли надоумил, чёрт ли угадал.

Если ты не флюгер, всё смущает ум:
ворвани ли шухер, времени ли шум.

Ведь живут без песни, веруют без вер
русский, гай, черкесс ли, грек или шумер.

Миром не учтённый зыбится провал.
Даже кот учёный без вести пропал.

Всё как понарошку и не разобрать:
то ль садить картошку, то ли когти рвать.

В ухе вечный зуммер, вот и весь прогресс.
Если ты не умер, значит ты воскрес

где-то на дорогах, дальних берегах,
то ли во пророках, то ли в дураках.

Анкета

Город, край: родилась не там,
где хотелось бы мне и вам.
Год рожденья и месяц: да,
было время, но не тогда.
В три попытки образование,
жирный прочерк напротив «звание»,
чудом выжившей мамы дочь.
Не еврейка, хотя не прочь.
Не была. Не имела. Каюсь.
Но от бредней не отрекаюсь.
Не из бывших, а из грядущих,
самозванного часа ждущих.
Не читаю (без словарей),
не считаю, что соловей,
но когда невтерпёж, пою.
Да, не ангел: курю и пью.
И не чёрт – не люблю морок.
И в отечестве не пророк.

*

Нарисую ограду,
Александровский сад.
Погуляю по саду
и пешочком назад.

А ещё затоскую,
на стекле перстеньком
нарисую Сумскую
и сирень на Тверском.

Сквозь родные приметы
мне глядеть веселей
на чужие предметы
из темницы моей.

Этот каменный город,
что сравнили с мешком,
крепко стянут под ворот
ключевым ремешком.

Запоешь – захлебнёшься,
а смолчишь в простоте –
всё равно задохнёшься
в тесноте, в духоте.

Так и этак рискую,
поневоле молчу.
Но зато я рисую
только то, что хочу.

*

Быть может, истина в вине,
а не в трудах моих убогих,
но в одиночку грустно мне
пить за друзей моих премногих.

Они ещё приветы шлют
и с Новым годом поздравляют,
но за меня они не пьют,
свиданий мне не назначают.

А я схожу по ним с ума,
справляя памятные даты.
Пусть виновата я сама
в том, что они не виноваты,

я не устану их любить,
меня, конечно, не убудет.
Они могли бы лучше быть,
но лучше их уже не будет.

*

Как страшен наш звериный род!
Взгляните в зеркало, как страшен:
сведён улыбкой хищный рот,
а мыслью лоб обезображен.
И столько злобы в простоте,
и лицемерья в состраданье.
Какое в звёздной высоте
способен выстроить он зданье?
В нём гармоничен лишь разлад,
а бескорыстна – жажда слова.
Но вспомню рай и вспомню ад –
и всё простить ему готова.

*

В России панегирик не в ходу,
античный панегирик, не французский
(хотя молот с восторгом ерунду
и льстить в глаза – вполне образчик русский),
зато отбою нет от храбрецов,
бичующих пороки мертвецов.

России свойствен массовый психоз:
будь то Европа, церковь иль колхоз –
берём нахрапом, всё у нас глобально.
Всё потому, что русский бог – муштра,
и что вопить: «ату» или «ура» –
в конечном счёте не принципиально.

В почёте ода или некролог,
ну, и конечно, жанр эпистолярный –
донос, не претендующий на слог,
и даже тем печально популярный.

Нет, нет! Карету мне! В Париж! В Париж!
Кого в России ямбом удивишь?

*

Какое счастье складывать слова!
Так сводят разлучённых и заблудших:
они ещё противятся сперва,
упорствуют в упрёках малодушных,

но, осмелев, задерживают взгляд

и медленно протягивают руку –
и сломан лёд, никто не виноват,
и вот они бросаются друг к другу!

И нет тебя, гадёныш, фраер, бог.
Задуй свечу и выйди за порог.

*

И всё, что нам приятно,
на самом деле вредно:
веселье неопратно,
везенье беспредметно,
а пьянство, а куренье,
а блуд, а доброхотство,
ослиное прозренье,
петушьё донкихотство.
Но худо или бедно,
а всё-таки занятно:
приятное ли вредно
иль вредное приятно?

Последняя встреча

- И чего тебя я бросил? Вроде не был дураком.
Всё базарил да матросил, да гонял порожняком.

- Бог с тобою, не пропала, дом в деревне продала,
все долги поотдавала, сына с дочкой подняла.

У неё слеза бежала, у него тряслась рука.
До вокзала провожала, утешала дурака.

*

Есть в лепете любовном что-то птичье.
Тебе ль, Психея, ямбами блистать?
Природа чувств, увы, косноязычна,
её удел – свистать и щебетать.

И ты, что хищным зреньем птицелова

вдруг из силков выхватываешь слово,
на вольный не рассчитывай полёт –
ты пойман тем, кто ласточек пасёт.

*

На чужом языке говорить мудрено и двояко.
Мудренее, однако, молчать на своём языке.

*

Воспоминанья ворошить –
дурацкая затея.
А мне сегодня надо жить
и... глаз поднять не смея?

Прослав принцессой на балу,
стать падчерицей снова?
Сгребать вчерашнюю золу?
С шитьём пристроиться в углу?
А что, зима сурова.

Зажгу лампадку и молчок,
плотней задёрну штору.
А ты рассказывай, сверчок,
что мой хрустальный башмачок
одной мне будет впору.

*

В крещенский вглядываясь мрак,
мороз поскрипывает как
хронический ревматик.
И город есть крещенский, да,
и даже улица одна
по имени Крещатик.

Я не взбегала на горбы
моей украинской судьбы
и с бабкой не сдружилась.
Но в старом доме под ольхой,
где пахло сдобой и трухой
моя судьба решилась.

Мой дед надраил башмаки,
достали сваты рушники
и выпили за дело.
А бабка вредная была,
она подарков не брала
и замуж не хотела.

Скатали сваты рушники.
Но тут приспели пироги
с начинкою грибною.
- Вот это жинка! – ахнул дед,
и бабка вспыхнула в ответ,
и пир пошёл горою.

И мне досталось от щедрот
великих бабкиных забот –
звала на святки к чаю.
Да всё бранила мать мою...
С тех пор я бабку не люблю,
но деда понимаю.

И то сказать: гулял старик,
зато к обеду был как штык,
чтоб жинка не сердилась.
Уж больно вредная была,
но лучше всех она пекла
и внучкой отличилась.

*

Перевожу
не за межу,
не за реку,
не за руку –
стихи перевожу
с чужого языка
на милое наречие,
вторгаясь в междуречие,
как в хаос музыка.

*

Страдание удлиняет жизнь.

Стоит ли цепляться за него?

*

Не любите старые желанья,
не ходите в прошлое гулять –
там темно, как ночью за кулисой:
свален в кучу ветхий реквизит,
пахнет серой, тальком и мышами.
Там витают призраки ролей:
лысый фрак, лобзающий порфиру,
ментик, потрясающий киём,
и кухаркин фартук, что верхом
мчится на распластанном шлафроке.
Кто сегодня вспомнит про туники?
Нарасхват ремни и галифе.
Там Орфей однажды заблудился,
и меня нелёгкая носила,
и нашёлся бешеный один,
тот, что двадцать лет не находился.
Он вернул мне первый поцелуй,
как жука, продетого булавкой,
но бедняга был настолько мёртв,
что казался шуткой неудачной.
С той поры я знаю, где гулять,
вот и вам советую подумать.

*

Ничего, кроме горя и счастья,
я тебе обещать не могу.
Вся наука – прощать и прощаться,
и ронять башмачок на бегу.

А соскучишься в роли героя,
на разлуку гляди веселей:
ничего, кроме счастья и горя,
не убавится в жизни твоей.

Антипейзаж

«Скорый поезд Ерева...

хыр... торяю... на втором...»
Гуси. Чахлая трава.
Тётка с цинковым ведром.

Звякнут в тамбуре судки.
«Отправля...» Река блеснёт,
чей-то взгляд из-под руки,
точно бритва, полоснёт.

Не объявится родня,
не сойду на полпути.
Свистнет мост – и нет меня.
Гуси-лебеди прости...

*

Зима. Эпоха классицизма.
Горячий глянец изразцов.
Канва небесная капризна,
но росчерк снега образцов.

Ещё не скованные воды
текут, державинские оды
державной спесью не горчат,
но дальний умысел природы
взведён – в российские широты
уже завозят арапчат.

Как вольно дышится на срезе
времен! В помпезном затрапезе
блажен младенческий уют.
Но стыннут формы. Сохнут губы.
Не зря даря собольи шубы,
крепчает резвый абсолют.

Во всём дойти до отрицанья –
не в том ли русской славы чужь?
Зима. Эпоха созерцанья.
Алмазный воздух режет грудь.

*

Ах, женщины, загадочный народ:
затворницы, актёрки, иноверки –
всё делают они наоборот,
у них свои материи и мерки.

Известные искусницы осад,
они плетут интриги, как кружавки,
и самый главный козырь – нежный взгляд –
приберегают для последней ставки.

И то, что впрямь не стоит ни гроша,
для них весьма значительно и лестно.
И Муза – женщина и женщина – Душа.
И спорить с ними бесполезно.

*

Вечером книгу листая,
утром срезая цветы...
Где же ты, радость простая,
тихая вечная ты?

В поле, в лесу затеряться,
в лодке смолёной скользя...
Сколько же можно терзаться
или иначе нельзя?

Синяя и золотая
рвётся осенняя нить...
Вечером листья сметая,
утром газету купить.

*

Она пришла и говорила,
и говорила без конца,
и удивленье не сходило
с её несчастного лица.

Я молча слушала, кивала
и утешала, как могла.
Она лишь к вечеру устала,
рукой махнула и ушла.

За стенкой девочка играла
в который раз собачий вальс,
и в корчах время умирало,
жестoko ненавиdя нас.

*

Октябрь. Дымится хлам,
гудит сквозняк надсадно.
А, говорю я, ладно,
сияло солнце нам.

Всё медленнее кровь,
рассудочнее слово.
А, говорю я снова,
сжигала нас любовь.

Навалится зима
и выдохнется лето.
Но я не верю в это,
а, говорю я, а...

*

В кошачьих сумерках луна,
как мышь в амбар, крадётся.
А тот, в кого я влюблена,
другой в любви клянётся.

А тот, а тот, учёный кот,
весь день читает книжки,
а ночью сам ко мне идёт
играться в кошки-мышки.

*

Мне с тобой и в стужу жарко,
мне любить тебя не жалко,
всё, что знала, всё, что буду,
всё с тобою позабуду.
Ты единственный и первый,
самый лучший, самый верный,
мы с тобой – одно из двух,

но об этом стыдно вслух.
Что же ты меня морочишь
и какой ты правды хочешь:
с кем гуляла, где была
и во сколько спать легла,
и кого чуть свет бранила,
где серёжку обронила,
отчего не прячу глаз
и никто мне не указ?

Я с тобою не скучаю,
всё смеюсь да отвечаю.
Знаю, как тебя унять –
крепко-накрепко обнять.
А как руки мои сбросишь,
сам прощения попросишь.

*

Промозглый день
и поздний час,
и даже ветер
против нас,
и подо льдом мертва река,
и люди смотрят свысока,
и мне бы ноги не студить,
вдоль чёрной речки не ходить,
горячий снег жуя,
и мне бы лучше промолчать,
но сердцу хочется кричать
всему и всем, что завтра в семь
тебя увижу я!

*

Не жена тебе, не поклонница,
не любимица, не любовница,
не сестрица, сто тысяч «не».
Что же тянет тебя ко мне?

Да и ты мне не брат, не суженый,
злой, небритый, насквозь простуженный,
что ни слово – издёвка, втык,
а стою, проглотив язык,

а смотрю на тебя, как школьница:
вот раздобрится, вот наклонится
и губами в сухом огне
отчитает сто тысяч «не».

*

Мама чистит рыбу на крыльце.
Брызгами разлетаются
слюдяные чешуйки.
- Кому говорят? Отойди!
Ну конечно, мне говорят.
Я умею мешать
тем, кого я люблю,
но иначе любить невозможно.
Нож сверкает на солнце,
звенит боевая кольчуга.
Как одинокий витязь
на смерть сражается мама
за нашу счастливую жизнь.
Я не против счастья и правды,
но любить – это врать безбожно!
- Мама, ты на русалку похожа
в серебряной чешуе!

Как делают стихи

Так не поют, не куролесят,
так безнадёжно глину месят,
так сети крючьями плетут,
так дети медленно растут.
А на чужой глазок, оттуда,
само собой рождается чудо:
из печки прыгают горшки,
бечёвки вяжут узелки,
себя за чуб кидают в небо
мои саженные вершки.

А мне б накрыться с головой
и притвориться неживой.

Барыня

Я такая барыня,
барыня-боярыня,
и лицом бела
и умом взяла,
и характером – не тронь,
жжётся ласковый огонь.

Что ж пристало барыне,
барыне-боярыне?

Подыматься на заре,
убираться во дворе,
печь, толочь, стирать, варить,
Рукодельничать, мудрить
и мести, и скрести –
целый дом держать в горсти.

А под вечер не скисать,
мужу спеть, гостям сплясать,
да придумать сказочку
деткам под завязочку.

Всю посуду перемыть,
всю перину перевзбить
и разлечься барыней,
барыней-боярыней.

Будут мне досветла
славу петь колокола
не за плечи тяжкие,
а за речи важкие.

Сто ворот отворю,
весь народ одарю.

Я такая барыня,
барыня-боярыня!

*

Я не ангел, и мне не кадят дураки и святоши,
я земной и божественной не доверяю возне.
Я летаю во сне, это невероятно, но всё же
я летаю во сне, я летаю, летаю во сне.

То парю в облаках,
то взмываю стрелой в поднебесье,
то срываюсь к земле, задевая крылом провода.
Мне не страшно ничуть, это невероятно, но если
я летаю во сне, то летаю уже навсегда.

Пусть вдогонку кричат или корчат свирепые рожи
те, что ходят внизу и ужасно завидуют мне.
Я хочу наяву, это невероятно, но всё же...
А пока я летаю,
летаю,
летаю,
летаю
во сне.

*

Всё ожидаю: потопа, суда,
шороха чёрных марусь.
Родина страха, эпоха стыда,
краткий классический курс.

С этой гашёной извёсткой в крови
нам ли алтарь воздвигать?
Только пугаться: Господь, сохрани!
да слабонервных пугать.

Всех-то сокровищ: тетрадь да свеча.
Всех-то свобод – зарыдать сгоряча.

*

Рядышком, словно нарочно,
ходят беда и потеха.
Всё в этом мире непрочно,
кроме вчерашнего снега.

Те, что себя не жалеют,

видят предметы с изнанки –
в мире вещей уцелеют
только воздушные замки.

Парадокс

Да, с гласностью у нас порядок,
да,
и с этой, как её...
самокупаемостью, точно.
В чём именно купаешься, не важно,
существенно, что сам.
Или самокупаемостью?
Чёрт!
Как трудно выговаривается!
А с гласностью у нас порядок,
ды,
и с этой... кратизацией...
Однако!
И с этой пере – пеле...
В самом деле!
С чего вы взяли, будто всё не так?
Включите радио –
опять поют дрозды.
Жаль, нету масла, надо бы подмазать,
а то скрипишь, скрипишь,
и батарейки
салятся.
Эдак все и пересядут.
А с гласностью у нас порядок, да,
порядок,
порядок-с.

*

Шестая одна, всех читая, одна,
смертельно больная родная страна,

к чему ей слова и припарки,
и жалкие наши подарки:

встречаем ли праздник ударным трудом,

построим ли в срок образцовый дурдом

и как обуздаем погромы
в местах, где не ходят паромы.

Ей больно и тошно дыхание длить
и в тех, кто приходит наследство делить,

она запускает скандалом
по старой привычке к скандалам.

Наследников – прорва, и слуг и подруг,
да жаль, разворован последний рундук,

остались два старых романа,
солдатский сапог и румяна.

Ей нужен не пастырь, а морфий взахлёб
и лёд на пылающий в сумерках лоб,

чтоб самые страшные муки
не видели бедные внуки.

*

Трещит империя по швам,
и разбегаются народы,
дрожит земля, бушуют воды,
сквозняк гуляет по щелям,

и веет ужасом конца
от жутковатого начала,
и смотрит отрок одичало
на вдохновенного отца,

который, тронувшись чуток,
малюет мёртвую голубку,
топор, яичную скорлупку
и вытекающий желток.

*

Ну, что там у нас на дворе:
согласие или раскол?
Всё в той же хвалёной дыре

всё тот же обструганный кол,
мочало на старый манер
и царь без особых примет,
и перечень действенных мер,
и выкладки горестных смет.
И вывод один: не мудрить
и выдать секиры к щитам.

А правду в глаза говорить
позволено только шутам.

*

Не государство, а бардак,
не карнавал, а кавардак
и не ячейка, не семья,
все, как один, но он – не я,
ржёт панихида, воеет пир
и что ни деспот, то кумир.
С дворцом толкуется барак,
с купцом торгуется батрак,
и грозно движется вперёд
не то толпа, не то народ.

Армавирский романс

Это старческое – детство вспоминать,
грошик медненький на золото менять.

Это старческое – раны беречь,
два конца одной верёвочки сводить.

Всё казачки мне мерещатся в платках,
газировка в грубо срубленных лотках,

скверы пыльные, церквушка, бугорок,
с гулким гэканьем кубанский говорок,

да за печкою чириканье сверчка,
да коленца городского дурачка,

лужи, ямины, заплёванный фонтан,

платья мамыны в горошек и волан,

лысый памятник в железном сюртуке
и баржа на буро-вспененной реке.

Здесь когда-то громыхал монетный двор,
а теперь скрипит обжорка в сто рессор.

Ждут отметки хуторяне в паспортах,
да печатей не хватает на местах,

и толкуются в исполкомовской ругне:
френч, бушлат и кацавейка на ремне.

Боже мой, и дом снесён и кот издох,
по глухим степям рассыпался горох.

Не с кем, негде мне победы пировать.
Это старческое – крохи собирать.

*

Закат отпыляет, займётся рассвет,
и снова закат отпыляет.
Мне грустно, что вечного праздника нет,
и вечной любви не бывает.

И свет, и любовь – от зари до зари,
очнись и опять забываюсь.
Но ты говори, говори, говори,
что я, как всегда, ошибаюсь.

Вверх по течению

Потянулись птиц непокорных
шумнокрылые вереницы.
Всё быстрее в руках проворных
золотые мелькают спицы.

Но, узорам чудным не рада,
искушает душа природу,
в процветанье стремясь к закату,
в увяданье стремясь к восходу,

съединённые так нелепо
разрушает единства звенья –
вдохновенья прося у неба,
но покоя у вдохновенья.

Тайная вечеря

Тридцать три. Ожидание чуда.
Это значит: живём без чудес.
Павел дуется. Жмётся Иуда.
Пётр мудрит. И ни звука с небес.

Был бы хлеб, обойдёмся без манны.
Но пока перспективы туманны.

Спит народ. Просыпаться не хочет.
Верит бредням и горькую пьёт.
Трижды прав недорезанный кочет –
только криком разбудишь народ.

Но вода превращается... в воду.
И об этом известно народу.

Рим в упадке. В почёте химеры.
Страстотерпцы устали чудить.
Не бессмертия просят у веры,
а свободы – себя не щадить.

Жаль, что вышли последние сроки,
и ничем не рискуют пророки.

Павел струсит. Продастся Иуда.
Отречётся неистовый Пётр.
Ничего, проживём и без чуда.
Слишком хлопотно знать наперёд.

*

Мы торопились жить
и не успели устать.
Книгу любви с конца
весело нам листать.

Всё позади: тоска
и расставанья час.
Встреча уже близка.
Жизнь разбросает нас.

*

Именем моим не нарекут
ни звезду, ни улицу, ни птицу,
разве – сумасшедшую больницу,
где таких же умниц стерегут.

Бог со мной! Всё правильно идёт,
ведь давно я знала, привереда:
в мире, что страшней любого бреда
не свихнётся только идиот.

*

О, как мне хочется устать
до тошноты, до изумленья,
как книгу, сердце залистать,
чтоб отшвырнуть без сожаленья

и налегке пуститься вспять,
туда, где тени неподвижны,
и долго-долго сладко спать
и выздоравливать от жизни.

*

Как змея при виде жертвы
извивается в броске,
но заслышав голос флейты,
цепенеет в столбняке,
так душа с душою споря,
грубой радостью кипит,
но заслышав голос горя,
зачарованная, спит.

*

Шкатулка ночи. Бархат, лак,
позвякиванье шпор старинных
и комариных шпаг.
Атласной туфелькой скользя,
вскипая пеной кринолина,
вальсирует, как балерина,
луна, и капли стеарина
вмерзают в бархат...
Но нельзя
так умиляться в наше время,
отвычное от всяких чар –
пружина сорвана, и в стремя
не вскочит заспанный гусар.
Визг тормозов, сухая глина,
карболки смесь и гуталина –
и весь ночной кошмар.

Из цикла «Нервные элегии»

1

После тридцати
и ямба и дактиля
вдруг теряют прелесть
и хочется свободного стиха
и мыслей вольных
и гостей неожиданных.
И не страшит несовершенство мира.
У лошади бегущей – больше ног,
чем у её сестры, жующей в стойле.
А святость форм – кощунство и обман:
темно значенье, суть неуловима.
И лишь в воображенье существует
обкатанная зимняя дорога,
монументальный бор
и в полушубке
крестьянин, чурки ахающий в дровни,
охваченный восторгом созиданья.
Мы всё ещё живём минувшим веком
по образцам, усвоенным успешно
в начальных классах
старой русской школы.

А новый век ещё не предъявил
достойных штампов —
все живут, как могут,
но к власти рвутся так, как раньше — к славе,
и опытом гордятся, как умом.
Как жить?
Куда нам плыть, не говорю.
Нет корабля, потоп не предусмотрен,
и твари не хотят трудиться в паре,
и Ной, как видно, выжил из ума.
А впрочем, зимний день располагает
к беседе трезвой
плюс опасный возраст,
к тому же вряд ли сказанное мной...
к поэзии имеет отношенье.

10 января 1980

*

В телефонные трубки,
как мамонты, дышим
и друг другу кричим,
но друг друга не слышим.
Это не повреждённая связь —
это линия душ прервалась.

Слишком ревностно мы в одиночку молчали,
чтоб теперь голоса в унисон зазвучали,
как звучали они в унисон
сквозь века с допотопных времён.

Мы в бессмертье уже не играем —
вымираем, пластом вымираем,
но по нашим словам, по звонкам,
как по мамонтовым позвонкам,
восстановят потомки эпоху,
посвящённую страху и чоху.

*

И я сказала: нет чудес.
Но тут в меня вселился бес.

Он громко ахал и вздыхал,
то кулачищами махал,
а то смеялся и визжал
и снова выл и угрожал,
и снова выл и восклицал,
и всё на свете отрицал.

Мне было страшно и смешно,
но мы глумились заодно.

И я сказала: нет чудес
ни с оправданиями, ни без,
с меня довольно всяких див
в краю неронов и олив.

И бес
исчез.
Но с этих пор
я верю в гибель и позор.

*

Лучше в Древнем Египте
родиться рабом,
ведьмой –
в средневековой Севилье,
где никто не заставит
гордиться горбом
и всходить на костёр
без усилья.
Кнут, колодки,
испанский резной сапожок,
те же изверги,
те же разини...
Лучше носом в песок,
лучше с воплем в мешок,
чем родиться поэтом
в России.

*

Ты сказал, что я героиня
и жить не могу без драм,
и со мной, судьбу половиня,

свихнётся любой адам.

Это правда, тебе в угоду
я готова пойти на всё:
в ледяную броситься воду,
в огонь и под колесо.

Не со скуки я так упряма
(кому веселей тужить?),
а с того, что ты – моя драма,
и мне без тебя не жить.

*

Обжигал ревнивым оком,
горьким вздохом леденил,
то насмешкой, то упрёком,
то восторгом изводил.

Стала каменной и твёрдой,
ни заплакать, ни вздохнуть,
и тебе, живому, к мёртвой
страшно руку протянуть.

*

Удивите меня,
скажите,
что вы никогда не писали стихов
и никогда не сидели в долгах,
и дети ваши – не вундеркинды.
Скажите, что вы не обладаете
абсолютным слухом,
чувством юмора
и комплексом неполноценности.
Признайтесь,
что вас устраивает жизнь
с беготнёй без погони
и радостью без стыда.
И тогда я поверю,
что поиск положительного героя
увенчался успехом,
и текущая литература
протекает весьма и весьма.

*

Только в детстве сбываются сказки.
В каждой присказке, позже поймёшь,
есть предчувствие страшной развязки,
но её, как спасения, ждёшь.

Повзрослев, отшатнёшься от полки –
сколько в мире бесстыдства и зла!
Рвут царевичей серые волки
и кристальные врут зеркала.

*

Мы не отдаём себе отчёта
в том, что происходит каждый час.
Смотрит вспясть с улыбкой идиота
глаз в затылке, думающий глаз.

Как старьевщик, прошлое скупает
задним непроверенным числом
и слезу стыдливую пускает,
разживаясь стыдным барахлом.

Опытом грядущее придвинуть –
глупая затея, не про нас.
Есть одно спасение – предвидеть
и встречать с оглядкой каждый час.

*

Буквы – рабы, только в массе они уцелеют.
Цифры – цари, потому что восходят с нуля.

*

Так сходят медленно с ума,
так пьют отраву, жгут дома,
так ходят смертники по кругу,
как мы глядим в глаза друг другу.

Друг другу... будто мы друзья!

На выстрел пушечный нельзя.

Но громче выстрела в упор
наш ненаглядный разговор.

Глазами – суше губ – дышать,
глазами – крепче рук – держать
и в ноги падать и вопить,
глазами – больше глаз – любить.

Как полоумных, с глаз долой
силком уводят нас домой.

Но поздно. Всё горит огнём:
и дом, и сад, и окоём,
и видно на сто глаз и рук,
что это наш последний круг.

*

Разыграв историю, как драму,
устремился к выходу народ.
Помяная автора и маму,
он пролёты приступом берёт.

В дружной ратоборствующей свалке,
раскачавшей пол и потолок,
женские мелькают полушалки,
капор и сиротский кителёк.

Хрипло надрываются возницы,
брызжут желчью вмятины торцов,
арок опустевшие глазницы
смотрят с укоризной мертвецов.

Едкий, с кислой прозеленью серы
мрак дороги к полночи разъест.
Поздно. Жмутся к дамам кавалеры.
Всем чего-то хочется. Разъезд.

*

Очень печальные
дни юбилейные:

взгляды прощальные,
речи елейные.

Вдоволь и топота,
яркого света...
Многая хлопота –
многая лета.

*

Зимний день, как пережиток,
суверен и суров.
Не с руки раскручен свиток
мёрзлых трактов и дворов.

Напрягаясь каждой жилкой,
ждёшь со страхом вестовых –
чем обяжут: пулей, ссылкой
иль отсрочкой вместо них?

При затверженности линий
тусклый день тягуч, как воск,
и напрасно тщится иней
сохранить парадный лоск.

Ни гроша ты, жизнь, не стоишь!
Что ж бросаешь в жар и дрожь?
На свечах не сэкономишь
и себя не бережешь.

*

Как больничная палата,
блещет кафелем зима.
Из нарядов: бинт и вата,
да стерильная тесьма.

Ощувив себя уродом,
надо вжиться в белизну,
спячку, пахнущую йодом,
процедурную возню.

Не тарквиниевский nihil
в дрожь бросает мудрецов,
а сухой сверкучий никель
крючьев, скальпелей, щипцов.

И идёшь по косогору,
щурясь в гипсовых снегах,
как больной по коридору
на негнущихся ногах,

чтобы с кем-то попрощаться,
перекинуться словцом,
перед смертью надышаться
неразбавленным теплом.

*

То сжигала, то знобила,
а теперь язвит и судит.
Это было, было, было
и наверно будет, будет.

Страсть-погонщик без оглобель
гонит нас и понукает.
Уцелел какой акрополь?
Кем Атила помыкает?

Но жива – во сне настигнуть,
в люльке, клетке обнаружить! –
страсть строителя: воздвигнуть,
страсть воителя: разрушить.

И доступно ль человеку
божью выполнить работу –
сдвинуть альфу и омегу
хоть на мизерную йоту?

*

Я не люблю классических примеров.
Рим цезарей велик, но вечен град
Рим цензоров и Рим легионеров,
и Рим кровосмесительных услад.

Да, Форум свят и Флавиев зверинец
хорош для гладиаторских затей.
Но я вхожу как первый палестинец
в Рим волчьих тог и сжатых челюстей.

Очень специальное

Чем больше скорость, тем больше масса.
Любовь нарастает, как снежный ком,
и время сжимается в спазму часа –
о, дай надышаться одним глотком!

Усиьем воздастся сопротивление.
Но сердце, оно выбирает, друг,
одно безотказное направление
без крыльев, перил и воздетых рук.

И что мне расскажут копьё и лютюня,
когда обгоняю и звук и свет?
Лишь мера прошедшего абсолютна
и, кроме печали, печали нет.

Ницца

1

Мы ступаем по краю волны средиземной,
заметая следы на песке,
беглецы сухорукой, стоглавой, стозевной...
и рука замирает в руке.

Мы сполна заплатили за всё, голодранцы,
звонкой бронзой мелькающих икр,
и глядят с любопытством на нас ницшеанцы,
созерцатели жертвенных игр.

Завтра мы лучезарную землю покинем
и забудем её, как мечту,
и зелёные пальмы на бархате синем,
и магнолии в белом цвету...

Геркулесовых подвигов и возлияний
не избыть, упираясь в столбы.
Но таинственно связаны: берег желаний
и невидимый берег судьбы.

Ну и что? Сто раз приснится
 приснопамятная Ницца –
 мало ль сказок снилось нам?
 Жизнь и та почти приснилась,
 а теперь, скажи на милость,
 разве можно верить снам?

От мучительных примеров:
 трой, помпей и тамплиеров –
 на волне лишь завиток.
 Но любое из желаний
 вмиг исполнит нищиеанец,
 женских слабостей знаток.

Здесь к любой готовы чуди
 полубоги-полулюди:
 сноб и бургер, и ковбой –
 щекоча себе нервишки,
 мечут взгляды, словно фишки,
 вдоль каёмки голубой.

Нам же, выходцам из ада,
 лишних радостей не надо,
 мы горды своим пайком.
 Отдышаться б, откреститься
 и в обратный путь пуститься,
 да слезу смахнуть тайком.

Из польской тетради

Я, говорит, пан,
 страшен как чёрт
 и пьян,
 как воробей в поле.
 Ан
 всё-таки я – пан,
 и прошу не хамить, панове.

В драке мне не впервой
 прошибать углы головой –
 я владею любым ударом.

Но по совести и уму
пан, чужого я не возьму
и своим поделюсь задаром.

А в любви – очей не сомкну,
кралю, как цыган, умыкну,
хватит мне куража и лоска.
А не будет ко мне добра,
я скажу ей: прости, сестра,
будь по-твоему, Матка Боска!

Сглаза, каверзы не боюсь,
только честью своей божусь,
продуваясь напропалую.
Не с того, что ношу жупан,
а с того, что не хам, а пан.
И потому паную!

*

Как во сне настигает кошмар,
и свинцом наливается тело,
а убийца заносит удар
и понятно, чем кончится дело,
так нас время застигло врасплох –
мир в раздоре и в сердце надсада.
И сдвигает полки Антиох.
И рукою подать до Багдада.

*

Раньше – лучники да латники, да конники,
а теперь мерещатся покойники.

И к чему бы это: к выволочке? к возрасту?
Может, в пламя накидать побольше хворосту?

Ни наивной не была, ни суеверною,
что же тянет меня в пропасть эту серную?

Кто нашёптывает мне знакомым голосом,
что ни воском не спасусь, ни конским волосом?

Но как весело глядеть в ущелье тесное!

Разве может быть печальным неизвестное?

Пусть непуганых разыгрывают комики –
эти лучники да латники, да конники.

*

Светло. Тепло. Надёжно.
И тихо, как в гробу.
Ну, сколько, сколько можно
испытывать судьбу?

Пора бы стать мудрее,
а значит поскромней,
ей-богу, Пиренеи
не хуже эмпирей,

отдаться, как влеченью
влюблённый сумасброд,
бесстыдному теченью
нагих гаронских вод,

понять, что путь свободен
и дольше суши твердь,
и нет чужбин и родин,
а есть любовь и смерть,

забыть, что клятый, лютый
нам выпал... чем не век?
И жить одной минутой,
как первый человек.

*

Милый соколом глядит,
а немилый – вороном.
Милый дерзостью берёт,
а немилый – норовом.

Наломает, наследит
милый – всё понравится,
а немилый душу рвёт,
если и подладится.

Без любви – и крест и спас –

все богатства – мнимости!
Всё из жалости возьму,
ни гроша – из милости.

*

Тихая беззлобная погода:
мелкий дождик, лёгкий ветерок,
словно всё готово для ухода,
и ничто не встанет поперёк.

В день такой не требуют ответа,
в день такой не плачут, не поют,
но впервые чувствуют, что где-то
их внезапно вспомнили и ждут.

*

Трижды сплюнешь через левое плечо –
и Атлантика задышит горячо.

Глянешь за спину – до хруста позвонки –
и с Босфора замигают маяки.

Ой ли, сладко с ледниками в головах,
разметавшись на брабантских кружевах...

Вот и крестишься дрожащею рукой
одесную на окошко за рекой.

Там сидит моя покойная родня,
сквозь оклад глядит с укором на меня:

как тебе, нездешней, в роскоши срамной?
Всё мне кажется, что это не со мной.

Словно сплю и в пропасть чёрную лечу.
И проснуться не могу. И не хочу.

10 января

*

Разверзлись небесные хляби,
и хлынула в душу тоска.
В сетях стекленеющей ряби,
как рыба, бьётся река.

И берег предательски ломок,
но мчится на юг, на простор
весёлая стайка соломок –
надежд утопающий сор.

Последние мысли простые:
смириться, отдать без борьбы
и эти деревья пустые
и те верстовые столбы,

что делят чужбину с отчизной,
но в русском сознанье, увы,
«отчизна» рифмуется с «тризной»,
и зиждется спас на крови.

И трезво, душа не подгадит,
прикинуть, разжав кулаки,
насколько тебя ещё хватит
с учётом бессмертной тоски.

А там... потихоньку забыться
и на зиму справить пальто,
повеситься или влюбиться,
напиться... да мало ли что!

*

Злилась, отпиралась,
надвое рвалась.
Долго собиралась,
быстро собралась.

Всем теперь довольна:
тишь да гладь, да синь.
Мне уже не больно.
Нет меня. Аминь.

*

Век расторгнут, как сделка,
пахнет страшным судом.
Память, словно сиделка,
в изголовье моём
то вздыхает с упрёком,
то с улыбкою льнёт,
а сама ненароком
слёзы сладкие льёт:
мол, не зря навитались,
до земли – ого-го,
и всего навидались,
и не жаль ничего.

*

Засыпаю ничком, как рыба
забивается под мостки,
или ангел летящий, ибо
некогда спать по-людски.

Но сквозь толщу воды, сквозь жабры,
на плаву мятущийся сор
мне сияют с небес канделябры
и ангелов сводный хор.

Но лечу, словно звук в пустыне,
огибая лунный прилив,
и любуюсь в морозной стыни
тёплым светом прудов и нив.

Исчерпав немоту и пенье,
вдруг очнусь – за окном ни зги,
лишь роятся сырые перья
и оплывшие плавники.

Проня

Сорок лет в саду трудился –
я садовником родился!

И гранат сажал и сливу,
стар и млад давались диву.

Надавались и того...

посадили самого.

На повале пригодился –
ишь, садовником родился!

Дед руками замахал
и заохал, завздыхал.

А кругом вишняк, черешня,
что ни ветка, то скворешня,

десять грядок огурцов,
вдвое больше сорванцов.

Проня их не материт,
хай блукают, говорит,

я гонять не подрядился –
я садовником родился.

*

О, ирония мифа, о, шутка природы,
всем поэтам урок и наказ:
в древней Греции числился богом погоды
конь крылатый по кличке Пегас.

А погода чудит, ведь она не святая,
ей страшны перепады пустот.
Надо помнить, любезную клячу седлая,
что она только ветер пасёт.

*

Ты цветов не дарил –
покупала сама.
Ты мудрил и дурил –
я сходила с ума.

Лето, осень, зима,
знай морозец крепчал.
И ушла я сама,
ты мне вслед не кричал.

И сама удивлюсь,
как начну голосить.
И сама удавлюсь –
не тебя же просить.

Четвёртый сон

1

До рассвета не стихает
на Москве пасхальный звон.
Вера Павловна вздыхает –
снится ей чудесный сон.

Посреди всея планеты
расцветает пышный луг,
там проводят свой досуг
музыканты и поэты,
живописцы и атлеты,
и чтецы, и мудрецы –
божьей милости жрецы.

А кругом леса и горы,
и торжественные хоры
славят родину и труд,
и внимают им просторы,
выси горные и норы
в глубине сибирских руд.

О свободе, о прогрессе
кто не грезил на Руси?
Что прогресс, Христос воскрес!
Отче наш иже еси...

2

Хлещет вьюга за Окою,
снег сечётся как стекло.
Вере Павловне такое
и присниться не могло.

Посреди тайги дремучей
столбяной мокротный рай,
а за проволкой колючей

лай и хохот, хрип и хай.
Это с жизнью сводят счёты
урки, суки и сексоты,
и в придачу – вертухай.

А вселюбы и всеведы
в новый вписаны устав
как жиды и мироеды,
и шпионы всех держав.

А кругом замки, заборы,
переклички, перекоры,
самострел и самосуд...
Но торжественные хоры
славят родину и труд,
и усердьем голосистым
каждый третий обуян.

Кто сказал, что утопистом
был великий графоман?

3

Воет вьюга, не насытись,
подвывает волчья сыть.
Вера Павловна, проснитесь,
вам парашу выносить.

*

Кто на небе седьмом
блаженствовал вдвоём,
тому земля не дом,
а логово внаём.

Кто райских яблок бы
попробовал хоть раз,
на что ему хлебы
и выбродивший квас.

Все прелести в миру
на что ещё ему,
кто был ребром ребру
недостающему.

Но послан в райский сад
отличнейший связной...
И мы повисли над
отвергнутой землёй.

Твои замашки, твердь!
Твои проделки, страсть!
И стыдно вверх смотреть,
и страшно вниз упасть.

*

Лес, орешник, земляника, шорох крыл.
Словно птицу, ты с руки меня кормил.

Берег, сходни, плоскодонки, катера.
Взял и выпустил – ни пуха, ни пера!

Пыль да ветер, да валежник, да осот.
Что ж опять сосёт под ложечкой, сосёт?

Письмо на родину

Не от красной волчанки, чёрной оспы
и белой горячки –
я умру от тоски, этой ветхозаветной болячки,

от египетской тьмы и пылающей в деве руанской,
от босяцкой Москвы и мятущейся крови армянской.

Словно соль, отлагается в памяти мира усталость.
Старость – это не возраст, а загнанных чаяний
ярость.

В жертву пота и топота – всё,
до растоптанных лилий.
Человечьего опыта мало для вечных усилий.

Впрочем, всё хорошо, будет май, не пройдёт
и полгода.
Напиши мне, какая на родине нынче погода.

Что читают? Цветут ли шафраны в земле
марсианской?
Как считают, мы справимся с ролью своей
мессианской?

Быть Бориске царём
иль стрельцы уломают Руцкого?
Впрочем, все мы умрём.
Не от этого, так от другого.

октябрь,

*

По чужим колокольням,
постоялым дворам,
по дорогам окольным,
воровским пустырям,
той рукой, что ласкал,
взял да и расплескал
мой серебристый смех.
Был и жаден и смел,
да простить не сумел,
что была я счастливей всех.
Кто пытается и судит,
не умножит добра.
У меня ж не убудет
моего серебра,
нет расчёта моим пудам.
Я друзей собираю,
серебро – к серебру,
и тебе через дверь подаю.

*

С мужем жить и помирать,
всех небес стоит дом.
Стала мужа выбирать –
этот крив, этот хром.

Всё же некогда скучать,
было б дело в руках.
Стала дело намечать:
это – эх, это – ах.

Лучше деток наплодить,
ишь, растут как грибы.
Стала сырость разводить –
мох пошёл из трубы.

Сшила платье и на бал,
а веселья на грош.
Бог подумал и прибрал.
Богу всякий хорош.

Краковяк

В городке провинциальном,
как на снимке моментальном,
возникает старый парк.
Духовой оркестр играет,
и до ночи не смолкает
разудалый краковяк.

В бантик сплющивая губы,
музыкантки дуют в трубы –
тыл гуляет без мужчин.
Взяты Познань с Вышеградом,
и победа где-то рядом,
и для горя нет причин.

Карусель летит по кругу,
малышня визжит с испугу,
заглушая треск шутих;
бьёт фонтан из львиной пасти
прямо в гипсовые снасти
дискоболов и пловчих.

Тут и плачут и смеются,
и судачат, и дерутся,
но без злобы и обид,
и живут одной судьбою
и красавица с трубою,
и безногий инвалид.

Бей в литавры, невозможный
краковяк ясновельможный,
музыканток не жалей –
эту ждёт в столице слава,

а вон та, вторая справа,
станет мамой моей.

*

Только умри – и стадами
хлынут любители чуд.
Всё, что пылилось годами,
взвешат, измерят, сочтут.

Вскроют шкафы и кавычки,
письма и факты заслуг,
даже дурные привычки
прокомментируют вслух.

Был наказаньем и бедством,
вечно какой-то не тот,
станешь излюбленным средством
для толкованья пустот.

Впрочем, и слава и милость –
козыри божьей игры.
То, что тебе и не снилось,
сбудется – только умри.

*

Были дорогие уверенья,
стали дорогие оправданья.

Даже у попа была собака.
Он её любил. А ты меня.

*

Тот, кто прощает,
помнить не смеет.
Любвеобильный
жатвы не сеет –
труд непосильный.
Было ли? Невесть!
Что же смущает
вас, моя прелесть?

*

Ночи греховные, ночи стиховные,
ночи стихийные, аварийные,
минные, хинные, малярные.
Утра незрячие, мысли бродячие,
взгляды косые.
- Где тебя, милая, черти носили?

Там, где носили,
вас не спросили.

*

Он силы терял и мятежный пыл,
но вверх по течению плыл.

Однажды устал и добычей стал
тех, кому он помехой был.

Пошла я с поклоном к речной родне
просить ему утешенья.

Но увидела я, что и на дне
лежал он против течения.

*

«И любовь и привычка – враки, -
ты сказал с усмешкой в глазах, -
случай сводит людей, а браки
совершаются на небесах».

Что ж, и мне по душе преданье,
я священные узы чту.
Назначаю тебе свиданье
у фонтана в райском саду.

*

Есть губы для еды и для питья –
архангельские трубы требухи.

Для брани губы есть и для нитья,
и даже для словесной шелухи.

Но губы есть, что созданы для губ.
И ты мне это скажешь, женолюб!

*

И труд в ущерб, и лень с убытка,
и время тянется, как пытка,
не видно звёзд, не слышно птах,
и что казалось распрелестным,
вдруг стало приторным и пресным,
и всё не то, и всё не так.

И даже праздников не стало.
Я на сто лет вперёд устала,
мне нянька добрая нужна,
чтоб утром с ложечки кормила,
а ночью сказки говорила.
И всё. Такого вот рожна.

Эпатама глокой куздре

Куздра балданула.
Бокры разбулдали.
Вот и будланула,
чтоб не дарвалдали.

Разом и бокрѣнка
ѣрзает, кудрячит.
Мало ей куздрѣнка,
что в кулёмах вячет.

Куздра, ты пришпека,
брось своё глумоко.
Как всё это штека!
Как всё это глоко!

*

Мы с тобой не пропали и там и тут –

стало быть, не пропащие.
И дела у нас, слава богу, идут,
ничего, что неважные.
И забот на сто лет,
и цветы на столе,
ничего, что бумажные.
И зима далека,
а за домом река
и сарайчики славные.
И неслышно над нами плывут облака.
Те же самые.

Московская весна

Пахнет шкурой палёной, и горло прогоркло.
Крючья свастик и скрип вензелей.
Погребальные игры на тризне Патрокла
были, думаю, всё ж веселей.

Там стреляли из лука и копьё метали,
мчались взапуски, пели, а тут
мечут бисер, орудуют ломом, медали,
будто гвозди, вразвес продают.

О, Москва! Лубяная твоя позолота
въелась в бронхи церковей и ларьков.
Даже имя твоё – от мозглы, от болота,
даже гимны тебе – торфяная блевота
правоверных твоих куликов.

Ты свела мне дыханье и певчие связки
хинным страхом: скрывайся, молчи.
И ни ласки твоей не хочу, ни огласки,
и герои твои – палачи.

Только щепки плывут по отравленным рекам –
до сих пор вырубает леса.
Нет уж, лучше поближе к доверчивым грекам:
там играют, поют и богам-имярекам
посвящают свои голоса.

Еврейская отходная

Собираются вешать.

Согнали баб и ребят.
Смотрят, как я стою.
А верёвка воняет псиной.
- Пой, - говорят.
- Ради бога, я только и делаю, что пою.

Повисаю в пространстве.
Кто завыл,
кто пустил в штаны.
Обнимают, целуют,
наверное, я в раю.
- Ну, даёшь, - говорят, -
всех обставил и хоть бы хны!
- Ради бога, я только и делаю, что даю.

*

Не киваю, когда журят
и лукавствуют потакая.
Я бешусь, когда говорят,
что известно им, я какая.

И плохих и хороших тьма,
будут рады любому спору,
ну, а я разберусь сама,
как мне всё-таки сдвинуть гору.

Я не крепче, чем кварц и мул,
и моих знатоков не строже.
Но я слышу подземный гул...
И гора его слышит тоже.

*

Трепетных пальцев, взглядов скользящих –
бойтесь данайцев, дары приносящих.

Были баулы – будут упрёки.
Там, где посулы, там и зароки.

Но и страдальцев, вечно просящих –
бойтесь троянцев, дары уносящих.

Были покорны – будут жестоки.
Там, где поклоны, там и наскоки.

Пуще боязни бойтесь, герои, –
в каждом соблазне рушится Троя.

*

Вот занудство, вот зазнайство!
Печь да лечь – и всё хозяйство,
печь да речь – и весь пирог,
и ни шагу за порог.
Пили, ели, веселились...
Как сквозь щели провалились.
Где волшебничал смычок –
тупо тренькает сверчок.
Где рядком стояли книги –
шкодят буки и шишиги.
Дула. дула в поддувало –
нет огня, как не бывало.
Хоть витийствуй, хоть бреши –
ни собаки, ни души.
Стала складывать манатки –
всё объедки, да заплатки.
Крыша набок, стены сели.
Сам-то где? А мыши съели!

*

Говорил, что любит сильных.
Стала первой из двужильных.

Стала первой, да нелюбой –
ранит сила лаской грубой.

Говорил, что любит нежных
больше прочих, пуще прежних.

Стала нежной, стала слабой,
то ли душой, то ли бабой.

Стала первой из покорных.
Говорит, что любит вздорных.

Не ругаюсь, не воркую,
знаю: хочет он другую.

Зря старается благой –
я ж всегда была другой!

Сам кривился потакая,
сам твердил, что не такая.

Ходит хмурый, ходит валкий,
утром – дерзкий, ночью – жалкий,

Мреет, зреет жар в плавильнях.
Видно, снова любит сильных.

*

Доля – от слова «делю».
Делю и дыханье длю
с тем, кто дал мне вот этот дол
для распашки –
усердствуй, вол!

Долго ль, коротко ль
жить-желать,
прежде сеять, а после жать?

Те, что делят со мной добро,
очень ценят моё ярмо.
Мука им – нулевой помол:
действуй, бедствуй, усердствуй, вол!
Дол-то даден не в долг, а в дар,
волен братъ – отворяй амбар.

Ешьте досыта, хватит всем.
Доля-воля, двойной ярем.

*

На груди брошка,
а в груди рана.
Говорю броско,
а смеюсь странно.

Мне Париж – диво,
а Москва – трепет.
Этот льнёт лживо,
эта впрямь треплет.

Не грусти, крошка,
помирать рано.
Хороша брошка,
да родней рана.

*

Я жить хочу легко, полушутя,
чтоб умирать легко и необидно.
Но забран день решёткою дождя,
он дольше века, это очевидно.

И надо оторваться от мечты
и окунуться в гущу водомёта,
чтоб ощутить паденье высоты
и головокруженье от полёта.

*

Как в часу шестом затевает гвалт
то ль щегол баском, то ль рябинник-альт:
мол, смотри на меня и не вздумай спать –
речь не течь, она землю роет вспять.
В междуречье гвалт дует с двух сторон,
словно топчет Халд львиногривый трон,
на огонь-спине объезжает чудь,
рык-очами мне обжигает грудь;
распугав щеглов, бородат и рыж,
мчит по верх голов и саманных крыш,
мол, не ваших дружб я прошу, зане
распрекрасней тушп нужен город мне,
и дрожи, айсор, и дрожи, халдей,
затевая спор между двух огней.

Я в часу шестом, как в лесу густом
ломовых стропил и строптивных пил.

И престол и печь мудрено сберечь –
простоит века в междуречье речь.

*

Люблю кануны и предтечи,
простые радости любви,

когда негаданные встречи
и все желания – мои.

А праздник я справляю строго,
как пьют церковное вино.
Не жду чудес – желаний много,
дай бог, чтоб сделалось одно.

Но все сады цветут в сочельник,
купаясь в святочном меду.
Истрачен воск – и замер пчельник,
и только трутень на виду.

И ты, души моей отказник,
напрасно тратишь столько сил –
не нужен мне твой стольный праздник
«и-я-там-был-мёд-пиво-пил».

*

Смертельна только смерть.
А жизнь – переживём.

*

Только ушки, а не уши
могут вынести пуды
беспримерной женской чуши
и мужской белиберды.

*

Смётана солома,
пусто на путях.
Я живу не дома,
я живу в гостях.

За море и птицы
тянутся зимой.
Мне в гостях не спится,
я хочу домой.

Там, на косогоре,
свищет суховей.
Дома даже горе
мыкать веселей.

Жаль, что дома нету,
только дым родной
носится по свету,
просится домой.

Мне бы очутиться
дома хоть во сне!
Но в гостях не спится,
ну не спится мне.

*

Ты горький и вздорный,
как дым без огня.
А Боженка добрый,
он любит меня.

Со страхом глядишь ты
и с волчьей тоской.
А Боженка: - Ишь ты,
нескладный какой!

Не в радость забота
и в тягость душа.
А Боженка: - То-то,
сама хороша.

Тряхну головою
и пулей с моста.
Нас всё-таки двое,
а ты – сирота.

*

Горе луковое, псиное, срамное,
ну на кой тебе валандаться со мною?

Я люблю, когда накурено и пусто,
но без этого прокрустовского хруста.

Всех-то роскошей: огарок и тетрадка.
Кто сказал тебе, что жить со мною сладко?

Я забыла, что такое сон и отдых –

через форточку дыханьем грею воздух,

чтоб поскидывали ватники со стуком
требухою провонявшие и луком.

И для них я не находка, не подарок:
ну, дыханье, ну, тетрадка, ну, огарок.

С этой шушерой – с душою дорогою –
только по миру с протянутой рукою.

Ты ли миру будешь радоваться даром,
горе луковое, жирное, с наваром?

Я-то ладно, я привыкла, бог со мною.
Был бы воздух, а дыханье наживное.

*

Я знала одного поэта,
который был поэтом,
как я – китайской балериной.
Я не крутила фуэтэ
и ужас! на ночь наедалась.
А он путёвки выбивал,
торчал на всяких заседаниях,
снабжал издателей форелью,
но разводил одну лишь мать.
И ужас! пел и процветал.
Не знаю, что его тянуло ко мне...
Должно быть, взгляд китайский
и тон, должно быть, церемонный.
Он вдруг терялся: не острил,
не лебезил и, распаляясь,
не звал куда-то на природу.
Однажды он сказал, что самый
несокрушимый мост на свете –
вода, и ранил меня в сердце.
С тех пор я крепко сомневаюсь
в том, что вражда сильнее любви.

*

Не играю в лотерею,

не читаю, не пишу.
Что я делаю? Болею.
Чем болею? Не скажу.

Атлантическую, рыбу
прописали мне бурду.
Аллергической сыпью
расцветаю на ходу.

И пугаю анатомов,
саблезубых знатоков
тарабарщиной симптомов
и незнанием языков.

Непонятна им чудная
и капризная – не лезь! –
наша русская родная
безнадёжная болезнь.

Пусть их лечат аллергию,
я-то знаю наперёд,
что заразу ностальгию
даже водка не берёт.

*

И есть слова,
понятные без слов,
не скованные речью и бумагой.
Молчанье, твой блистательный улов
тяжёл, как шёлк, и весь пропитан влагой.

Но он бесплотен в дружеской руке,
всегда берущей то, что тяжелее.
И сыт рыбак, и сети налегке,
и льётся время, золота теплее.

*

От меня не бывает убытка –
всех напутствую лёгкой рукой,
и распахнута настежь калитка
в мой высокий и светлый покой.

И тебя я утешила, милый,
чем могла, одарила сполна
и не стану удерживать силой –
мне ещё пригодится она.

Друг нагрянет, заглянет ли странник,
всех незваных и званых приму,
потому что мне каждый – избранник
на моём одиноком пиру.

*

По берегу времени
иду балансируя,
а прежде уверенно
и даже вальсируя,

меж старым проверенным
и новым обманчивым,
тоскою навеянном
о чём-то утраченном.

А берег сужается,
а берег снижается,
а берег в безбрежный туман
погружается.

*

Как в острог из казачьей вольницы –
из любимицы да в любовницы.

Ах, не павой плыть – на возах трястись,
ах, не первой быть, а в хвосте плестись,
не венки плести – чепуху плести,
что живу в чести, в божьей милости.

Приохотил петь, научи молчать,
в уголке сидеть, головой качать.

Будешь пьян и сыт, всё исполнится.
Да не жди спасиб от любовницы.

*

Когда меня начинает мутить
от этой персидской жизни,
в которой белые начинают,
а чёрные выигрывают,
где хорошие грабят
награбленное плохими,
а потом выстраиваются по ранжиру
как в штерновской иерархии
личностей и вещей
(с точностью наоборот),
где не последнюю роль играют
происхождение, национальность, партийная
принадлежность
и прочая ня,
я хватаюсь за слово,
как за песчинку в пустыне,
потому что в песках утопая,
вряд ли найдёшь соломинку.
Короче, на месте пустом
срочно обзавожусь
домом, друзьями, садом –
то есть собственным
натуральным хозяйством,
замкнутым! на сто тысяч замков!
И как-то перебиваюсь.

И вам говорю: не бойтесь –
всегда есть выход, раз уж имелся вход.
Главное, чтобы мутило покрепче.

*

Я веду с тобою разговоры
без тебя – так проще и спокойней.
Я вполне разумно отвечаю
на твои безумные вопросы.
Ты меня не можешь удивить –
я себе устала удивляться.
Мы с тобой прекрасно обойдёмся
без тебя.
Ты этого хотел?

*

Всё у меня не так, как у людей,
ведь я живу, сама с собою споря,
не отличая радости от горя,
и чем трудней живу, тем веселей.

Сравните: чем закат алей,
тем ветер злей;
чем духота надсадней,
тем ливень беспощадней,
холодней.

Всего темней середина меж огней,
какая она к чёрту золотая!
И на краю мне дышится вольней,
и знаю я, куда иду не зная.

*

Не хлопаем в ладоши, не поём,
не верим обещаниям и сплетням,
но по привычке будущим живём,
дурным и мрачным,
как когда-то – светлым.

*

Как замечательно не считать
денег, лет, ворон и т.д.,
ни о чём таком не мечтать,
просто жить, как рыба в воде,
не глядя сквозь муть и гвалт
на весь этот цифер-блат.

Просто жить и молчок.
Но закинут крючок.
Оттого-то и просится на язычок.

*

Горе – камень, его не сдвинешь,
стороною не обойдёшь.
Так придавит – света невзвидишь,

но такое вдруг запоёшь,
что смешаются лёд и пламень,
отрываясь одним куском,
и рассыплется чёрный камень
золотым горячим песком.

*

Вечер тихий, вечер сонный,
птицы не поют.
Я спокойная, спокойней
только в гроб кладут.

И не надо мне хорала
в мёртвой тишине.
Всё, сдаюсь, я проиграла –
ты не нужен мне.

*

С тобою мы на «ты»,
и снег на ветках тает,
и жизнь приобретает
прекрасные черты.

И кажется, вот-вот
край неба заалееет,
и клён зазеленеет,
и вишня зацветёт.

За счастье жить любя,
мечтая и горяя,
не Вас благодарю я –
тебя, тебя, тебя!

*

То рука дрожит,
то слеза бежит,
то голос предательски
дребезжит.

Видно, тот, кто водит моей рукой,
собирается на покой.

*

Все мы пришли оттуда.
Все мы уйдём туда.
Там хорошо,
куда возвращаются.

*

Где-нибудь в доме, где варится каша (суп),
котёнок (щенок) играет с клубочком шерсти,
лечь, завернувшись в пуховый платок (тулуп),
и не думать о смерти.

Представить, как плещется море (ручей, река),
старик на песке починяет корыто (сети),
забыть, что длиннее жизни только тоска,
и не думать о смерти.

И не думать, не думать, пусть всё идёт чередом –
впереди не последний и самый последний дом.

*

Когда у ребёнка болит голова,
ему кажется, что у всех болит голова.
Все для него –
это он.
Моя голова ни у кого не болит.
И слава богу.
Но если за голову не схватиться,
не превратиться в боль –
она вырвется и перекинется
на здоровые головы.
Я для себя – это все,
в том числе и вы, дорогие.
Не спешите глотать таблетки,
когда у вас болит голова.

*

Заварить бы мне кофейку,

да покрепче,
и крепко подумать:
куда уплывают силы,
куда улетают желанья,
где они сбиваются в стаи,
не пора ли и мне туда?
Нет, не тянет меня на юг,
к морю синему, солнцу белому,
ни погреться, ни затеряться
в травах сонных, огнях золотых –
тянет к дому, сырой земле.
Поохотиться мне охота,
пострелять, порыбачить вволю,
сбросить годы, раздать добычу
и пуститься в путь налегке.
Я бы, мне бы... да недосуг.

*

Горько пили,
солоно хлебали,
всего натворили,
езде побывали.

Кому – воля, кому – рай,
кому – чаша через край.

*

И снова красный лист календаря,
кровавый праздник, что от октября
до ноября справляется, как треба.
Тринадцать дней мы плаваем в крови,
не требуя ни воли, ни земли,
а только зрелищ требуя и хлеба.
По всей земле грохочет наш парад!
Давно забыт языческий обряд –
сжигать младенцев, жертвуя Молоху.
Тринадцать дней мы пляшем и поём,
тринадцать дней не пашем, а жуём
и громко славим славную эпоху.
Сжигает нас языческая страсть!
В огонь дрова подбрасывает власть,
но мы плюём на памороки эти
и радуемся празднику, как дети.

*

Поднял руку молодец,
а она – пудовая,
с маху не пальнёшь.
Поднял к небу голову,
а она – садовая,
чёрта с два поймёшь.

Сел и закручинился:
эх ты, горе-ягода,
волчий пере­мёт.
Знал бы добрый молодец,
что его не тягота –
сила его гнёт.

*

Если боитесь,
не унывайте –
в лодку садитесь
и уплывайте,
только на чудо
не уповайте.
Бедно ли, худо,
сами гребите,
страшно – крепитесь,
тошно – терпите,
а и топитесь
и утопайте –
не уповайте,
не уповайте!

*

Отовсюду мне слышится плач
то старухи, а то ребёнка.
Это ветер гудёт,
это время идёт,
это тихо поёт ребёнка.

Сквозь бумагу прозрачную
вдох гоню,
выдуваю из лёгких ноты.

То старухе, а то ребёнку пою:
успокойся, ну что ты, что ты...

Что им слышится
в дальней той стороне,
я не знаю – темно и глухо.
Но они улыбаются мне во сне,
то ребёнок, а то старуха.

*

Однажды Картезий спросил у Декарта,
какая из двух предпочтительней карта.

С трудом оторвавшись от карт,
сердито ответил Декарт:

- Напрасно, Картезий, блефуешь –
я мыслю, а ты существуешь.

*

На каком языке так невнятно звучит, как мольба
или жалоба, или вода в горлышке узком,
слово «люблю», производное от самого себя?
Только на русском.

В нём и лепет, и трепет, и воинствующий захлёб,
«бью», «убью» отзываются даром, что ли?
Кто услышал «иди ко мне», услышит «и духу чтоб!»,
кто заплакал от радости, заголосит от боли.

Ибо сами не знаем, что ведаем, что творим,
всё в диковинку нам и ничего не внове.
Но говорим, говорим, говорим, говорим
и продолжаемся в слове.

*

Я жила, когда любила,
а любила я всегда –
мне привычно это было,
словно воздух и вода.

В этом мире под луною
мне чудовищно везло:
всё случилось, что со мною
не случиться не могло.

*

Пора любви и странствий миновала.
Теперь всё чаще письма достаю,
натягиваю выше покрывало
и разве что по праздникам пою.

А по ночам прислушиваюсь к стуку
несущихся куда-то поездов
и к ветру, что разыгрывает вьюгу
по нотам телеграфных проводов.

А голос сердца, словно из подвала,
мне говорит, коверкая слова:
пора любви и странствий миновала,
пора любви и странствий минова...

*

То ли оторопь, то ли оттепель:
даль размыта и звук плывёт,
и не завтра, а нынче, вот теперь
под ногами крошится лёд,

и не ступишь без страха подлого –
подо льдом закипает муть,
и бредовой, чем жажда подвига,
с полдороги назад свернуть.

Плохи наши дела бумажные,
но недаром бумаги жжём –
скоро высушим ризы влажные,
гимны прежние запоём.

*

Они слишком сильно желали друг друга,
и стало желанье опасней недуга:
обмётаны губы, а лоб, словно лёд,
а взгляд, точно птица, подбитая влёт.

Когда преступили они ожиданье
и руки сплели, онемев от страданья,
им сил не хватило для нового круга –
они слишком сильно жалели друг друга.

*

Угораздило ж родиться
под январскою звездой –
мёртвый свет её струится
из купели ледяной.

В нимбе святочного пара
я парю, как херувим,
меж душой, что для пожара,
и звездой – борьбою с ним.

Мне бы землю под ногами,
мне бы резвого коня!
В этом странном балагане
обойдутся без меня.

*

Немота.
Даже рыбы ложатся на дно.
Немота.
Превращается в уксус вино.
И ни слова, ни звука.
Чёрно-белая скука.
- И давно это с вами?
- Давно.
Ничего, надоест -
разонравится.
- Ну, а если заест?
- Пусть подавится.

*

В ответ на ваше предложенье сообщаю,
что не могу, и не хочу, и запрещаю

ходить за мною и топтаться под окном
с букетом, тортом, а тем более – вином.

Хотела я, чтоб вы мне голову вскружили,
а вы состариться мне с вами предложили.

Рай в шалаше, в мешке двуспальном на меху.
Я и без вас, мой друг, состариться могу.

*

Села не в тот поезд,
поехала не туда,
встретила не того
и не про то сказала.
И, сама себе удивляясь,
прожила половину жизни.
Голубка моя, подруга,
не гляди в потускневшее зеркало,
это не ты и напрасно
искать дорогие черты.

*

Люблю уроки старой школы:
чистописание и труд,
её великие глаголы
и междометия причуд,
и тонких кружев баловство,
и плотницкое мастерство,
и повод радоваться вместе
и утешаться меж друзей,
где слово верности и чести
надёжней клятв и векселей,
где никого никто не судит,
но и не вступит в разговор
с тем, кто однажды наудит
и не искупит свой позор.

... Всё пересыпано золою,
где трепетал минувший век,
где высшей было похвалою
сказать: хороший человек.

*

Ничейное небо
и отчий порог,
и блажь, и потреба
мне дадены в долг.
И флейты и трубы
взывали: возьми!
Бывало, и губы
давали займы.
Ни в чём не раскаюсь,
всего наберу.
Когда расквитаюсь,
тогда и умру.

*

Лучше птицей обернуться
или зверем притвориться,
или камнем у дороги
необъезженной приткнуться,
или к берегу прибиться
щепкой, высохшей от соли,
или вскинуться побегом
сквозь овраги, сквозь пороги,
чем остаться человеком
без желания и воли.

*

Он приходил ко мне под вечер,
когда лучей поблекший веер
вдруг рассыпался, ровно в пять,
чтоб научить меня, невежу,
хорей от ямба отличать.

Влюблённых глаз поднять не смея,
кляня премудрости хорея,
я отвечала невпопад.
Кривился он: наверно, брежу –
и уводил в тенистый сад.

Нас обступали клёны, липы,
и соловьиных трелей всхлипы
обуревали тёмный зал.
Он обнимал меня за плечи
и снова ямбами терзал.

О, все поэты – душегубы!
Его бормочущие губы
мне были громче всех цитат.
Но вот настал последний вечер,
сгорел последний наш закат.

И мы оглохли и ослепли
в полночной черни, лунном пепле,
роняя руки и слова...
Ах, до сих пор ещё кружится,
как только вспомню, голова.

Таких возвышенных и жгучих
не знала метрика страниц.
И он клянётся и божится,
что я была одной из лучших
его примерных учениц.

Три взгляда

Убьют, ну конечно, или
разлюбят и сгинет с глаз,
ведь счастье подвластно силе
немыслимой, выше нас.

Так верить – не хватит сердца
и ужаса – так любить.
Всеяднейшего всеведства,
как моря, не переплыть.

*

Силком увели, слюбили.
Сто дней и ночей воплю:
ах, лучше б его убили!
живого не разлюблю!

*

Куда мы, смешные,плыли?
Искали во тьме кого?
Ну, господи, ну любили,
ну, только-то и всего.

*

Осень. Сажа и охра.
Влажный кобальт небес.
Куража и восторга,
и унынья замес.

На морозце щекотном
лес, как пар изо рта.
О дурном и негодном
стыдно думать с утра.

Но стыдней обольщаться
невозможной мечтой,
в пух и прах облачаться
и блистать наготой.

Эта роскошь недаром
водит царским пером –
в мире сиром и ярком
не разжиться добром.

Мы ошиблись безбожно:
время движется вспять.
Надо жить осторожно,
чтобы выжить опять,

потихоньку глупея,
пить заряженный сок.
Вот и вся эпопея.
Взят последний мазок.

*

Милых тешат, а не вяжут.
Мамочки, боженьки.
Где гуляла я, расскажут
лямочки, ноженки.

Пеной розовой умылась –
что приукрашивать?
Как стерпелось, как слюбилось,
грех тебе спрашивать.

Милых греют, а не студят
с дальней дороженьки,
а потом – язвят и судят.
Мамочки, боженьки...

*

Лягу в землю и стану землёй.
Не цветком прорасту – коноплей.
А по лету мои стебельки
соберут для отборной пеньки
и подарят тебе целый воз
на извод, на измор, на износ.

Вот тогда из меня, так и быть,
будешь, милый, верёвочки вить.

*

Полжизни пролистая,
не поднимая глаз,
и до смерти устала,
и больше б не читала,
когда бы точно знала,
чем кончится рассказ.

*

Так солнце заходит и ночь настаёт,
по золоту чёрным алмазом ведёт.

Всё реже деревья, всё чаще столбы.
Так жизнь и любовь отдают без борьбы.

Но весело пляшут навстречу беде
последние блики на чёрной воде.

*

Ненавижу рифму. Рифма – блажь,
хоть умри, хоть тресни, а уважь.
Всё бы ей кривляться и форсить,
то телячьих нежностей просить,
то занудной точностью бесить.
Финтифлюшка, старая карга
обдерёт, как липку, донага,

а не выйдет, сядет в уголок
штопать синий драный свой чулок.

*

Мне тебя никто не заменил.
Оттого мне белый свет немил.
Белый, он всегда воюет с чёрным,
оттого и кажется мне вздорным.

Я нарочно чёрное ношу
и чернильным воздухом дышу,
и люблюсь пёрышком вороньим,
что горит огнём потусторонним.

*

Радость не жалится,
радость не просит,
не унижается,
не превозносит.

Ходит, как дурочка,
в рваном платке,
сиплая дудочка
в грязной руке.

Песенку выдует,
спустит пятак.
Кто ей завидует,
счастлив и так.

*

Тоска, тоска, всё злей и злей,
все язвы напоказ.
А ты и вправду зеленой
его зелёных глаз.

И он мне раны бередил
с завидной прямою,
но он меня не изводил
моей же правотою.

А ты скрутила изнутри,
зашлась в моём огне

и душу вынула: смотри!
Смотрю и жутко мне.

*

Ах, победы мои никому не видны,
а видны только беды одни.

Но и я равнодушна к чужому добру
на моём одиноком пиру.

И незваных гостей мне смешить недосуг –
не затейник я им и не друг.

Оттого-то и пир мой идёт не горой,
и сама я себе не герой.

*

Что политика? Салочки, прятки,
осторожные лисьи шажки,
желтоглазые рысьи повадки
да ещё обезьяньи прыжки.

Словно девка в мехах от Диора
не отводит, кусая платок,
своего завидущего взора
от чужих кошельков и серёг,

так политика, в прошлом модистка,
обирает дородных господ,
вся в смешках, от щекотки до тиска,
вся в булавах газетных острот.

Банальные рифмы

Не плохо и не хорошо,
а хуже – не бывает.
Надежда теплится ещё,
а вера убывает.

На то и вера, чтоб не знать

мучительных догадок,
а просто верить в благодать
и божеский порядок.

Но знать, что будет впереди
и есть на самом деле...
Сквозят осенние дожди,
размыты акварели.

Пора гроши пересчитать
и затянуться туже.
Ах, лучше всё-таки считать,
что не бывает хуже.

Дети оттепели

Вроде вылезли из кафтанов,
а в скафандры ещё не врубились,
вот и ходим так, в чём попало.

Вроде вышли мы все из народа,
а ушли всё туда же, в люди,
вот и думаем что попало.

Переростки, шпана, ублюдки,
сплошь романтики – рубль за строчку,
патлы, грязные ногти, паркер
и убийственно гордый взгляд.

Даже рвёмся куда попало,
даже лупим кого попало,
даже любим кого попало,
только гибнем, как прозорливцы,
то есть запросто и нелепо.

Не завидую тем, кто завтра
в замечательное послезавтра
пошагает по нашим трупам
яко посуху... чёрта с два!

*

О, ты прекрасно знаешь,
почему мне дорог и мил –

слишком много ты забираешь
у меня желаний и сил.
Страшно тебя покинуть,
золотую жилу мою.
Я должна, я должна погибнуть
в этом неравном бою.

*

Стрекочут жирные цикады:
цека – чека – цека – чека...
Весь день расстрельные рулады
летят с приморского толчка.
Куда бежать, куда нам деться?
В ушах стоит мохнатый вой.
Одно спасение – раздеться
и прыгнуть в море с головой.

*

Хорошо лежать одне
на речном запечном дне
и не думать о долгах
в синих ласковых шелках,
с каждым часом молодеть
и с улыбочкой глядеть,
как сбегаются ерши
на помин твоей души.

*

Взамен неведенья, сладчайшего как сон,
приобретён довольно смутный опыт,
но мне не греет душу он,
а только дни бегущие торопит.

И может, в этом смысл его пустой –
не обольщаться правотой,
а легковерно к радости тянуться
и в сотый раз, как в первый, обмануться.

*

Ах, была у меня голова на плечах,
голова на плечах, поволока в очах.

Но сказал ты, охотник до женских голов,
что наградой за голову будет любовь.

Мне не жаль головы, без неё веселей,
я не знаю, что делать с любовью твоей.

*

Как старый греховодник, снег
кружит лениво и вальяжно.
Который год, который век
всё повторяется отважно.

Обыгран каждый взгляд и жест –
природа не боится срывов,
ни пошлых фраз, ни общих мест,
ни вопиющих переливов.

И не своди меня с ума
губами горькими от жажды.
Тебя я выбрала сама.
С тобой мы встретились однажды.

*

Теряю мёртвых и живых,
теряю, господи, теряю...
Черты утраченные их,
как заклинанья, повторяю.

Твержу случайный чей-то жест
иль наспех брошенное слово...
Во дни крушений и торжеств
они присутствуют сурово.

О добровольный страшный суд,
где горьких слёз не утирают.
Они одни меня спасут,
когда другие потеряют.

*

Я наслаждаюсь одиночеством,
как чародей своим пророчеством.
Мне плохо, если хорошо.
Но я прошу: ещё, ещё...

Я снова слышу, снова вижу,
весь мир люблю и ненавижу.
Всё чётко, зримо и свежо.
Но я прошу: ещё, ещё...

Чужие звуки и движенья
меня терзают и томят.
Музыка, прочь, ты – наважденье,
со мною духи говорят.

Окстись! Поплатишься ужю!
Но я прошу: ещё, ещё...

*

Душа и разум,
как женщина и мужчина,
созданы друг для друга,
чтобы друг друга терзать.

*

Бесприютен их уют.
Стены – целый мир вмещают.
Здесь чужих не обольщают
и своих не выдают.

Здесь трудом не кличут труд
и не жалуются больно.
Крикнут «смирно!» – дышат вольно,
честь, убей, не отдают.

Здесь лукавят, но не врут,
пузырям не верят дутым.
После смерти воздадут им
всё, что в жизни отберут.

Не спешите править суд,
не взывайте в трубы, люди,
дайте им настроить лютни –
черти, как они поют!

*

Как детская болезнь
внезапно настигает,
щекочет и пугает,
но ты ещё не весь,
а только коготком,
глазком увяз в ознобе
и всё-таки хворобе
сдаёшься целиком.
И вправду ложный круп!
Выталкиваешь слово,
как чёрный сгусток крово-
течения – спазмой губ.
Какой же это дар?
Скорее бред и выпот,
и тошнотворный – выпит! –
спасительный отвар,
и жалостливых рук
брезгливое касанье.
Всё это – наказание
за первый твой испуг.
А страстный некролог
и слепок твой посмертный –
за твой испуг последний,
что всё-таки не бог!
Да, всё-таки... хотя
оправдано земное
лишь тем, что ты, больное,
сказал о нём, дитя.

*

Когда витийствует тщеславный,
и бездарь вторит впопыхах,
я говорю с улыбкой: ах,
бой петухов куда забавней
орлиной схватки в облаках.

Вероломная женщина

Вероломная женщина
в доме напротив живёт.
Целый день кавалеры
торчат у закрытых ворот.
А она то стирает, то варит,
то песни поёт –
видно, дел вероломных
у женщины невпроворот.

Мимо дома напротив
соседки гоняют взащей
и своих и чужих
любопытных не в меру мужей.
- Ни минуты покоя, -
урчит управдом, словно кот, -
то молчит, как нарочно,
а то, как нарочно, поёт!

Мужа нет. Без отцовского глаза
растут пацаны.
Все заначки уходят
на их башмаки и штаны.
Перештопаны майки,
и гребень чубы не берёт.
А она то смеётся, то плачет,
то песни поёт.

Чертыхаясь, расходится к ночи
её караул.
Вымер двор, и встревоженный пёс
возле двери уснул.
Но дрожит до утра
беспокойный её огонёк,
словно бьётся о лампу
обжёгший крыла мотылёк.

В этом смутном сиянье
приветливей сумрак ночной,
и никто не споткнётся,
впотьмах возвращаясь домой.
Пусть поёт и смеётся,
и плачет, и сходит с ума.
Как ей жить, вероломной,
она разберётся сама.

*

Мне с тобой царевать
не в зале узорной –
мне тебя целовать
на лестнице чёрной.

Не в шелках утопать,
скользя к аналою,
а следы замечать
измятой полою.

А за то – не в саду
гулять под черешней,
а гореть мне в аду,
в печали кромешной.

Пусть же огненный вал
вздымается ярче!
Ты меня целовал
на лестнице жарче.

*

Благополучие укачивает нас,
как лодка в океане,
и мы плывём, не поднимая глаз,
в сплошном тумане.

Нет берегов и звёзд, и бури не страшны,
и заговоры дики,
и если думать вслух, то не слышны
чужие крики.

Но ветер дунул и взхлёб швырнул волну,
над нами измываясь.
И мы плывём, верней, идём ко дну,
вновь изумляясь.

*

Я пишу для себя,
а печатаюсь только для денег.
Это Пушкин сказал,
но никто не рискнул повторить.

Слишком совестлив Пущин,
кичлив незадачливый Дельвиг.
Сукин сын, только он
может запросто так говорить!

Тонкий голос его
истеричен для толстого уха,
длинный ноготь смешон,
и манеры шокируют дам,
а в его убеждениях
такая царит заваруха,
что и критик сомлеет
и виды выдавший жандарм.

И язвит невпопад,
и дурит, и скучает некстати,
и на глупости тратит свой ум
и природный талант.
А какой женолюб,
а лентяй... до полудня – в кровати,
и завзятый игрок,
и к тому ж записной дуэлянт.

Два столетья прошло,
а поверить мучительно трудно,
что его не вернуть,
не утешить миллионами глаз...
Как сумел он простыми словами
так выразить чудно
всё, что молча томилось без выхода
в каждом из нас!

И пускай подбивает поэтов
идейный бездельник
разразиться стихами
на злобу текущего дня –
я пишу для себя,
а печатаюсь только для денег.
Это я говорю,
мне не страшно, пугайте меня!

*

Мне надоели откровенья,
глаголы и местоименья:

надеюсь, верую, хочу,
я, мы... достаточно, молчу.

Нет никаких противоречий
у междометий и наречий:
всё! ясно! здесь! всегда! ура!
Не жизнь, а детская игра.

Играют все! Опять глагол.
Его глотаю, словно кол,
и снова с ужасом шепчу:
надеюсь, верую, хочу!

Ну, сколько можно между строк
метаться вдоль и поперёк?
Врастаю корню в словари,
пускаю с кровью пузыри.

*

И если Бога нет,
молитесь истукану,
тельцу, дельцу, тирану,
румынскому дивану,
коробке от конфет.
Божественный ликбез
восполнит все потери –
есть вера без чудес,
но нет чудес без веры.

*

Когда очередной поэт
читает мне свой сивый бред
и утверждает пренахально,
что се творенье эпохально,
и гордо смотрит на меня,
мне жаль крылатого коня,
мне жаль, что мало добрых слов
и нет летающих ослов.

*

И страшно выглянуть в окно –
темно и тихо, как в мертвецкой.
Трещит январское сукно,

и месяц – то-то и оно –
язвит улыбочкой простецкой.

А что, нам нечего скрывать:
чума грядёт и пировать
уж лучше раньше, чем во время...
Давайте всё подряд прощать,
но только чур! – не поглощать
всего вишнёвого варенья.

Не бойтесь брата и сестры,
тащите стулья и гитары,
пока не вымело дворы,
и не взвиваются костры,
и хлещут водку санитары.

*

Там, где правые швейки печатают
левый шаг,
пусть меня, пусть меня не печатают,
там, где шарк
почитаются всеми и ревностней
прочих па,
а в реестре хранителя древностей –
прах
щепа,
где кухарки, разделавшись с барином,
корчат дам,
где разит то палёным, то жареным –
где уж нам...
Потому что свобода – наводчица,
время – банк,
красным тоже ведь красненьких хочется,
ещё как!
Вот и грянула песня картавая,
нани-на...
Бог с тобою, печатай, кудрявая,
чур меня!

*

Власть, эта старая гримза,
жёлтая, как газета

пятидесятих годов,
и на ухо – ась? – тугая,
говорит, что и третий Рим за
Карфагеном (четвёртым?)
готов
к перестройке –
весь мир за это
рукоплещет ей потакая.
Кто такая?
Шепнуть бы Паве,
чтобы изобразил хоть он
эти страсти по вящей славе.
Браво, Пава!
Умри, Катон!

*

Р.С.

И снова тебе тридцать три.
Пустыня. И солнце в зените.
И столько же слов в алфавите.
Ты царь? Так иди и цари.
За каждую букву сгори,
как эта песчинка в пустыне.
Забудь о любви и гордыне.
Ты раб? Так иди и умри.

Отцы и дети

- Повелевающий корнями,
где же наследнички твои?
- Вот они, машут с небес ветвями,
свищут разбойниками-соловьями,
знать не желают родной земли.

- Эй вы, разбойнички, дурье племя,
вас не накормит небесный сад!
- Это не ваше, а наше время –
выжать все соки и сбросить семя.
Нет нам пути назад.

*

Душа испытывает тело:
то сном, то голодом томит,

то дразнит силой неумелой,
то слабой нежностью щемит,
то вдруг возвысит мукой смертной,
то вновь разжалобит тоской...
Ей скучно в жизни той и этой,
ей вечно хочется другой.

*

Все женщины, сказал ты, одинаковы:
все требуют великой доброты
и вечных жертв, и подвигов, однако вы
изменчивы, трусливы и хитры.

Какой же ты суровый и воинственный,
какие речи странные ведёшь...
Но ты вчера назвал меня единственной,
а завтра – несравненной назовёшь.

*

О сердце, золотое решето!
Тебе ль страшны железные запоры?
Любовь, тоску – любое вещество
легко твои улавливают поры.

И всё тебе, насытому, не в счёт.
Сквозь сердце только время протечёт.

*

Надо, надо удирать
и желательно подальше,
фертом, вывертом и даже
глупых слёз не утирать,
с беспросветного ранья
удирать без умыванья –
от ослиного вниманья
и сорочьего вранья.

*

Галоп фейерверка, кудахтанье труб,
здравных речей бормотуха.
А город похож на раскрашенный труп –

лежит и ни слуха, ни духа.

Разит перегаром отеческий дым.
Но мёртвых не судят, а плачут по ним.

*

Поднеси мне каравай, родина-товарка,
в чёрный снег не зарывай красного подарка,
грубой солью не кропи макового глянца –
караваем на крови горько разговляться.
По горам и по долам мы с тобой скитались,
всё делили пополам, до конца сквитались:
тебе – гривны, мне – тычки для ровного счёта,
тебе – гимны, мне сверчки горланили что-то.
Ты в достатке, да и я вроде не в убытке –
не завидует родня, не грозят отсидки,
и рука моя легка и забота любя.
Жаль, что память коротка у тебя, голуба.
Жаль, черствы твои куски и ехидны рожи.
Удавиться бы с тоски, да себе дороже.

*

Нам не дано подняться над судьбою –
больное время исцелять,
а только прикрывать живых собою
и мёртвых в губы целовать.

Мы и душой бедны и телом голы,
и наша пламенная речь –
всего попытка освежить глаголы
и время музыкой отвлечь.

*

Я знаю сад,
где произрастают
золотушные уши
и блевотные рты.
Днём и ночью
его обрабатывают
термиты и скорпионы.
Днём и ночью его стерегут

полчища фанатичных крыс
и заторможенных жаб.
Я ненавижу его,
но разлюбить не могу,
потому что он унавожен
кровью моих братьев.

*

Что так тяжело, как долг, над душой висит,
занимается, полдня мается?
Это солнце, мой милый, солнце в зенит
поднимается.

Что так шумно, бездумно всех веселит,
щекоча уста?
Это, милый мой, пустота звенит,
пустота.

Но расскажут тебе и небесный жар,
и кремень, и трут,
что огонь и песню заводит дар,
а выводит труд.

И не пой при мне, что пути любви
и огня просты,
не порыв – прорыв выше головы,
уст и пустоты.

А за что утонем, за что сгорим,
не пытай меня.
Мы с тобой об этом поговорим
на закате дня.

*

И небо в алмазах
и соль на зубах,
в кремлёвских указах
всё тот же размах.

Но страшно не то, что бранимся,
а то, что опять не боимся.

*

Как много переведено
желаний, сил и прочей дичи...
А сердце – глупое, оно
иной не требует добычи
и влажной жизни волокно
прядёт проворными зрачками.
И время, как веретено,
грудными движется толчками.

*

Как шелкопряд в травяной мешок,
в слово вползаю, у...
Господи, благослови на шёлк,
ткань несказанную.

Стыдно и страшно – не гнёзда вить
ласточкой, горлинкой –
мерзкой личинкой, начинкой быть,
вечной прожорлинкой.

Не для себя, не для деток, ах,
тратиться, жадничать –
будут другие в моих шелках
ахать, жеманничать.

Ну и, пожалуйста – благо слови!
Пользой не брезгую.
Господи, Господи, благослови
мерзкую, дерзкую...